
НЕЮБИЛЕЙНЫЙ ГОГОЛЬ

В. Д. Денисов¹

Российский государственный гидрометеорологический университет

СЫНЫ КОЗАЧЕСТВА

(продолжение статьи «Козак Тарас и его сыновья»)²

Статья посвящена изображению козаков и запорожцев в повести Гоголя «Тарас Бульба» (ред. «Миргорода», 1835), где была дана принципиально иная, чем в исторических произведениях того времени, оценка Запорожской Сечи, ее роли в формировании Козачества.

Ключевые слова: творчество Н.В. Гоголя, диалог русской и украинской культуры, повесть «Тарас Бульба», Козачество, Запорожская Сеча.

V.D. Denisov

Russian state hydrometeorological University

SONS OF COSSACKS.

The article is devoted to the depiction of Cossacks in Gogol's novel "Taras Bulba" (edition of "Mirgorod", 1835), where Zaporozhian Sich and its role in shaping the Cossacks were evaluated in a fundamentally different way in comparison with the historical works of this time.

Keywords: Gogol's work, the dialogue of Russian and Ukrainian cultures, the novel "Taras Bulba", Cossacks, Zaporozhian Sich.

Когда Бульба и его сыновья отправляются из родного Дома в Запорожскую Сечь, их отъезд сопровождает отчетливая символика

¹ Владимир Дмитриевич Денисов, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ, Санкт-Петербург).

² В слове *козак* и производных от него (для Гоголя все они означали воинское единство, какое сложилось в особых исторических условиях и стало основой народа) сохранено написание черновых редакций – в отличие от подцензурных обязательных наименований того времени: *казак* и подобных.

разрушения, исчезновения, смерти: «День был серый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали как-то вразлад» (дисгармония природы); братья «ехали смутно и удерживали слезы», а «хутор их как будто ушел в землю...» (мотивы скорби и погребения); «...только стояли на земле две трубы от их скромного домика» (печи с трубами остаются на пожарище); лишь «колесо от телеги», привязанное к шесту над колодцем, «одиноко торчит на небе...» (символы остановившегося движения), а затем всё скрывается – и нет пути назад: «...уже равнина, которую они проехали, кажется издали горою и всё собою закрыла» [Гоголь, 1937-1952, т. II, с. 289]¹. Но в этом дискретном пространстве, остающемся за спинами героев, есть и детали пейзажа, которые братья воспринимают как приметы начала их жизни, общего прошлого («...вершины дерев... по сучьям которых они лазили, как белки <...> луг, по которому они могли припомнить всю историю жизни, от лет, когда качались по росистой траве его, до лет, когда поджидали в нем чернобровую козачку...» – II, 289). А замечание о равнине, вдруг ставшей «горою», означает, что герои движутся вниз по склону – как выяснится дальше – к Днепру². И это мотивирует возможность их дальнейшего очень быстрого перемещения: «...полетим так, чтобы и птица не угалась...»; «...одна только быстрая молния сжимаемой травы показывала бег их» (II, 295). Здесь выносимая вверх повествовательная точка зрения явно обусловлена высотой птичьего полета и/или высотой неба, куда устремлена козачья душа (ср.: «...чем быстрее движение, тем выше выносится в пространственном отношении точка зрения наблюдателя» [Лотман, 1988, с. 277-278]), а

¹ Далее везде цитируем по этому изданию, указывая в круглых скобках через запятую номер тома – *римской* цифрой, страницу – *арабской*.

² Пространство подобного типа и соответствующая ему скорость передвижения будут представлены в финале повести: «Крепость была на возвышенном месте и оканчивалась к реке... страшную, почти наклоненную стремнину... Почти на двадцать сажен вниз шумел Днестр <...> Козаки... бросились бежать во всю прыть <...> только один миг ока остановились, подняли свои нагайки, свистнули, и татарские их кони, отделившись от земли, распластались в воздухе, как змеи, и перелетели через пропасть» (II, 353, 354-355).

«молния» и «небо» напоминают о Перуне. Это взгляд «поэта и ученого», который знает «душевные движения всех людей его народа и во все времена жизни этого народа» и соединяет «частное с общим, личное с всенародным», а потому представляет и свое видение, «и голос народа, душу народа, ту, что жива в каждом...» [Гуковский, 1959, с. 226-227]. И всё это, безусловно, позиция *романтического* автора.

Так, в народном творчестве полет на коне-помощнике, что ассоциируется с птицей, «отражает... переправу в царство мертвых» [Пропп, 1998, с. 293]. Автору же такое движение представляется неоднозначным: вроде бы козаки возвращаются в естественный мир, где «сердца их вострепнулись, как птицы» (или – в финале повести – спасаются: «...подняли свои нагайки, свистнули, и татарские их кони, отделившись от земли, распластались в воздухе, как змеи, и перелетели через пропасть». – II, 355), однако при этом они «пропали в траве... и черных шапок нельзя было видеть...» (II, 295), а кони их демоничны. Недаром Бульба называет своего коня Чертом (по одному из украинских поверий, лошадь – это превращенный дьявол [Булашев, 1909, с. 401]).

Обнаруживается и другой мифологический аспект пути: архетипическая антитеза «русского севера» Украины, где живут герои, и «благодатного Юга», куда они направляются, – уже запечатленная в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» как противопоставление демонически «холодного чиновного Петербурга» и «патриархальной, сказочной Малороссии» [Мелетинский, 1995, с. 81]. В данном случае антитеза усугубляется такими определяющими для «северного» пространства чертами, как «бледность», дисгармония, разрушение, стагнация. Выявляется и подразумеваемый прежде, доминантный для Севера признак «холодов»: из-за чего, видимо, Бульба и «любил укрыться потеплее», ночуя во дворе весной под «бараньим тулупом» (II, 285-286).

И чем дальше герои проникают на юг, тем отчетливее проявляются его благодатные признаки: гармония, изобилие, даже избыток (тепла, света, цвета, звука), цветение, плодоношение, – что и доказывают изображаемые черты целостности и эстетичности естественного пространства. Так, для автора нет ничего «прекраснее и

лучше», чем «девственная пустыня» Степи, которая подобна «океану» из множества «диких растений», «миллионов разных цветов» (II, 295). Ее просторы оказываются пронизаны музыкой и светом не только днем («Вся музыка, наполнявшая день, утихала и сменялась другою <...> все это звучно раздавалось среди ночи... и доходило до слуха гармоническим»: на козаков «прямо глядели ночные звезды», которые как бы отражаются в степи, поэтому она и казалась «усеянною блестящими искрами светящихся червей»¹; «Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом... и темная вереница лебедей, летевших на север, вдруг освещалась серебряно-розовым светом...» – II, 296-297). При этом целостность и естественность изображаемого также обуславливаются принципом противоречивого единства, когда описано происходящее днем, вечером и ночью на земле, в небе и на воде (в «озерах»), а стихии уподоблены друг другу: «Из травы подымалась... чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха»; «...свежий... как морские волны, ветерок едва колыхался по верхушкам травы...» (II, 296). Степь отзывается на каждое движение героев, сама вызывает эти движения – и герои становятся сродни птицам, чей «полет... подчеркивает безмерность окружающего пространства» [Гуминский, 1985, с. 249-250]. Так козаки оказываются «соприродны» Степи, Моря и Небу, или, говоря языком некоторых исследователей, «изофункциональны» пространству трех стихий.

Причем одновременно в том же пространстве и даже еще более «изофункциональным» оказывается скачущий татарин с «бесовскими» и животными чертами («Маленькая головка с усами...

¹ В представлении украинцев звезды на небесах всегда были связаны с миром людей: сколько душ на Земле – столько «свечей» звезд Бог зажигает на небе. Это либо «грешные души», поставленные Господом отбывать грехи свои на небе, либо, наоборот, души праведников. Млечный путь считался «дорогою из Москвы в Иерусалим» или «дорогою Божией Матери в Иерусалим», «Божией дорогою, по которой ходит Сам Бог, а также ездит на колеснице... св. Илья-пророк»; «дорогою, проведенною по небу и служащую для указания птицам пути» туда, «куда они улетают на зиму»; «дорогою... умерших людей на небо» [Булашев, 1909, с. 303-304, 305]. Однако чаще всего Млечный путь именовался в народе Чумацким шляхом.

понюхала воздух, как гончая собака, и, как серна, пропала...»), а этого «беса», по опыту Бульбы, «и не пробуйте; вовеки не поймаете...» (II, 297). Чтобы реалистически объяснить эти сравнения, обратимся к мемуарам XVII в. французского военного инженера Г.Л. де Боплана, служившего по найму в польских войсках. В частности он упоминал, что крымские татары «весьма храбры и проворны на конях, хотя и плохо сидят на оных... конный татарин похож на обезьяну, сидящую на гончей собаке»; воины берут в поход по два коня, и затем, при необходимости, «несясь во весь опор, они перескакивают с усталого коня на заводного и легко избегают преследования неприятелей», а кони их очень выносливы и могут «проскакать без отдыха 20 или 30 миль» [Боплан, 1832, с. 43-44].

Для читателя той эпохи степи – «основная природная черта» Малороссии, ее главная особенность: это «бесконечное пространство зелени, произведенной рукою природы украинской для украинских табунов... необозримые луга, где, кажется, никогда не оставляла следов нога человеческая» [Маркевич, 1831, с. 123]. Для украинца же и тогда, и сейчас, по словам Ю.Я. Барабаша, «степь – один из архетипов национального сознания, важнейший компонент национальной модели универсума, с парадигмой степи связаны такие былинные представления украинца... как простор и воля. Одновременно степи постоянно трансформируются в контексте исторических судеб нации: это поле битвы с врагами...» [Барабаш, 1995, с. 52].

Поэтически изобразить украинскую степь Гоголю советовал Пушкин. По воспоминаниям современников, чиновник Шаржинский «очень живо описывал в разговоре степи. Пушкин дал случай Гоголю послушать и внушил ему вставить в *Бульбу* описание степи» [Рассказы о Пушкине... 1925, с. 45]. Сам Гоголь отзывался о С.Д. Шаржинском, что тот «охотник страшный до степей и Крыма...» (X, 332). К этому отзыву П.А. Кулиш присоединил примечание: «Из его рассказов Гоголь заимствовал много красок для своего “Тараса Бульбы”, например: степные пожары и лебеди, летящие в зареве по темному ночному небу, как красные платки» [Кулиш, 1856, с. 145].

При этом, видимо, автор учитывал и описание степей в романтической поэзии того времени (стихотворения А. Мицкевича «Аккерманские степи» 1826 г., Н. Маркевича «Степ» 1830 г. и др. [см.

об этом: Мацапура, 2001, с. 235]). Вместе с тем, описание Гоголя напоминает обрисовку прерий в романе Ф. Купера «Американские степи» («Прерия», 1827; рус. пер.: 1829), а стихийно-руссоистские воззрения, природное вольнолюбие главных героев этого и последовавших за ним романов Купера «Поселенцы» (1823; рус. пер.: 1832), «Последний из могикан» (1826; рус. пер.: 1833) перекликаются со взглядами Бульбы [Вайскопф, 1993, с. 442]. Изображая козаков в степи, Гоголь, вероятно, ориентировался на то описание отрядов Самуся и Палея в малороссийских летописях XVII в., что цитировал Д. Н. Бантыш-Каменский: «Хотя на широких и пустых степях не имелось ни единой стежки, ни следу, как на море, однако помянутые ватаги, добре знаючи проходы, аки бы по известных дорогах з великим опасением, дабы не были где от татар исследованы, ездили; не имея же себе чрез один и другой месяц огня, единожды в сутки весьма скудной пици толокна и сухарей толченых кушали, и коням ржати не допуская, будто дикие звери по тернам и камышам крылись и с великим обережением пути своя разнo разъезжались тернами и паки сходилися; познавали же на тех степях дикий путь свой в день по солнцу и краях высоких земных и по могилах; ночью же по звездах и ветрах и речках; и тако татар высмотревши, нечаянно нападали и малым людом великие их купы разбивали» [ИМР, 1830, ч. III, с. 19-20].

В природном «контексте Степи» особое значение обретают отец и два сына, их поездка в «школу» христианского братства Сечи в пространстве Причерноморья, где, по православному преданию, проповедовал «скифам» апостол Андрей Первозванный, и численность всего отряда – 13 человек. Евангельские аллюзии придают героям некое сходство с апостолами, провозвестниками и ревнителями Веры, среди которых изменник, Иуда, – и позволяют усомниться в прочности семейного союза...

Неоднозначно изображена историком Гоголем и сама козацкая держава-вольница. Так, хотя сцена переправы через Днепр на остров Хортицу лишена часто свойственной гоголевскому повествованию символики перехода в «иной мир» (ср.: зеркало реки в повести «Сорочинская ярмарка»), дальнейшее описание Сечи имеет особенности, которые можно интерпретировать как черты *царства мертвых*. Отчасти напоминают могилы кузницы, «покрытые дерном и

вырытые в земле», и «несколько разбросанных куреней, покрытых дерном...» (в черновой ред. сказано яснее: «...покрытые зеленой травой». – II, 298-299, 619). Соотносится с этим и запустение вокруг: «Нигде не видно было забора или... низеньких домиков...» – никто не хранит «небольшой вал и засеку» (II, 299). Зато в Сечи всегда праздник «вольного неба и вечного пира души» (ведь труд – это наказание живых за грехопадение первых людей), и «большая часть гуляла с утра до вечера, если в карманах звучала возможность <...> запорожцы никогда не любили торговаться, а сколько рука вынула из кармана денег, столы и платили» (II, 301, 303; золото же, в народном представлении, маркирует «тот свет»). Еще одна характерная черта *царства мертвых* – забвение прошлого: сыновья Бульбы «скоро позабыли и юность, и бурсу, и дом отцовский, и всё, что тайно волнует еще свежую душу» (II, 303). Напомним, что у славян *царством мертвых* считался военный лагерь, где проходило посвящение и где юноши после своей мнимой смерти должны были забыть о прежней жизни [см.: Балушок, 1993; Денисов, 2017, с. 32-33]. Вероятно, этим же объясняется и лаконизм опроса приходящих в Сечу: «...во Христа веруешь? <...> И в Троицу Святую веруешь? <...> И в церковь ходишь? <...> А ну перекрестись!» (II, 303). Ведь утвердительно отвечать могли только воцерковленные православные, которые «как будто бы возвращались в свой собственный дом», для них главное – Вера в Жизнь Вечную, потому и нет мелочных вопросов «кто они? откуда?», обычно предназначенных живым. Возможно, Гоголь наделил изображение Сечи чертами *царства мертвых* как военный лагерь, чьи заросшие травой остатки на островах за порогами Днепра в XIX в. напоминали кладбище.

Еще яснее символика «того света» обозначится в более позднем эпизоде, когда на пароме приплывут козаки «в оборванных свитках... (у них ничего не было, кроме рубашки и трубки)...» (II, 307; видимо, эвфемизм погребального обряда с «люлькой») и сообщает о злодеяниях поляков. Выходит, что в Сечи, куда постоянно «приходила... гибель народа» (в черновой ред.: «...гибель приходила на Сечу народа». – II, 303, 625), не ведают, что происходит «на гетманщине». Это очевидное противоречие, и оно тоже может быть понято как характерная черта *царства мертвых*. Сама отделенность

«острова Сечи» от «основной» народной жизни степными и водными просторами сближает его с чудесным языческим градом в распространенной древнерусской «Притче о Вавилоне-граде», окруженном непроходимыми степными травами, или с народной утопией Беловодья [Вайскопф, 1993, с. 444-445]. Здесь запорожец спит днем на дороге, Бульба пирует «всю ночь» со старшинами, а затем, «загулявшись до последнего разгула», скорее всего, на рассвете они собирают запорожцев на Раду. Этот вечный праздник **вне дня и ночи**, собирающий на веселье православных воинов, напоминает освещенную мечами языческую Валгаллу – в древнегерманской мифологии чертог мертвых в небесном дворце Одина, куда попадали погибшие в бою воины и где они пировали, веселились, охотились, упражнялись и соревновались во владении оружием (Гоголь упоминал о Валгалле в статье «О движении народов...» – см.: VIII, 119-120).

Однако своевольная, буйная, разгульная жизнь в Сечи в изображении Гоголя явно противопоставляется жизни мужского монастыря, где уход монаха от «мирского» напоминает смерть, но не исключает единоначалия, послушания и труда. Поэтому, как дальше будет сказано, козаки действительно «всё умели», собираясь в поход и во время его, хотя Сечь умела «только гулять да палить из ружей» (II, 299). В недавнем прошлом, пытаясь разрешить это противоречие, ученые исправляли «неточности, допущенные Гоголем»: они восстанавливали «трудовые традиции», «трудовой стаж» козаков и упорно «реабилитировали» запорожцев [см., например: Карпенко, 1973, с. 56-59], хотя, по мысли автора, жить в Сечи чем-то, кроме гульбы, позволяли себе немногие: «Некоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговли; но большая часть гуляла с утра до вечера...» (II, 301). Вместе с тем Запорожская Сечь – в отличие от киевской Академии – показана и настоящей «духовной школой», хотя в ней «не было никакого теоретического изучения или каких-нибудь общих правил; все юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним опытом, в самом пылу битвы...» (II, 301).

Гоголевское описание Сечи действительно начинается с железного, «оружейного» (а не колокольного), рабочего перезвона «кузнечных молотов» – но в предместье, где кожевники мнут кожи, торговцы сидят с товаром и где, по традиции вертепного театра,

каждый характерный персонаж занят свойственным ему делом: или готовит баранину, или наливает на продажу «горелку»... Вот «армянин развесил дорогие платки». Но для кого же они предназначены, если «даже в предместье Сечи не смела показаться ни одна женщина» (II, 302-303), ведь разгульным «лыцарям» и в голову не придет покупать такой подарок «впрок»? Так возникает вертепный образ, которым автор иллюстрирует и многонациональность Сечи. Причем в черновике этой фразы не было (II, 620), скрытый же смысл ее в том, что некоторые запорожцы жили с женами или подругами на близлежащих хуторах, иногда даже в предместьях Сечи, обзаведясь соответствующим хозяйством (это было описано В. Нарезным и Ф. Булгариним).

Здесь же на глаза героям попадается пьяный «запорожец, спавший на самой середине дороги, раскинув руки и ноги» (II, 298), – тоже типичный для вертепа образ-эмблема [Розов, 1911, с. 111]. Его «театральность» подтверждена реакцией Бульбы-зрителя: он «не мог не остановиться и не полюбоваться...

– Эх, как важно развернулся! Фу ты, какая пышная фигура!..» – и далее картина: «...запорожец, как лев, растянулся на дороге. Закинутый гордо чуб его захватывал на пол-аршина земли. Шаровары алого дорогого сукна были запачканы дегтем, для показания полного к ним презрения» (II, 298).

Это напоминает о спящем змее-страже, охраняющем языческий Вавилон (в сказках аналогом змея стал лев [Пропп, 1998, с. 343]), а довершает переключку изображение козацкого чуба-змея [Вайскопф, 1993, с. 445]. Также значимо явное сочетание языческих черт воителя Перуна и змееподобного Велеса. Напомним, что в христианстве змей – символ дьявола, а царственный Лев, обычно воплощающий силу и мощь Иисуса Христа, – символ Воскресения (существовало поверье, что львята рождаются мертвыми, а жизнь в них вдыхают родители) и также символизирует духовную бдительность и крепость часового, неусыпно охраняющего устои Церкви, поскольку, согласно другому поверью, лев спит с открытыми глазами. Кроме того, в традиции христианских поучений языческому пьяному сну противопоставляется трезвое бодрствование, но при этом свирепый, алчущий лев символизирует адские силы: «Трезвитесь,

бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить...» (1-е Петра 5:8).

Далее в повести «львами» (а фактически «орлами», актуализируя темы *вольности* и *силы*) будут названы *все* запорожцы: «Так вот Сеча! Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы!» (II, 299). А когда Остап обретет «опытность в военном деле», будет сказано, что «все качества его... получили размер шире и казались качествами мощного льва» (II, 313). О дьяволе-змее теперь напомним подземный ход, откуда незаметно проникла в козачий лагерь татарка и куда в «небольшое отверстие» под телегой затем «пополз» Андрий (II, 316), а также ситуация его соблазна и «грехопадения». А затем, когда Бульба стал неистово преследовать польский отряд Андрия, как «разгневанный вепрь», – его «чуб, как змея, раскидывался по воздуху», и бегущие начали «думать, что они имеют дело с самим дьяволом» (II, 321).

То есть, образ спящего «льва» можно понимать как образ могучего воина-стража (часового) христианства, который после языческих жертв (Бахусу) беспечно спит среди бела дня, пренебрегая одеждой, удобством и опасностью (ср. эпизод во 2-й ред., когда запорожцы напильсь и проспали нападение врага), и потому обретает отнюдь не христианские, демонические черты. Мотив мертвого («духовного») сна есть в начале повести: «...прежде всего заснул сторож, потому что более всех напился для приезда паничей» (II, 286), – и повторяется в эпизоде, когда Андрий ведет по лагерю татарку: «К счастью его, запорожцы, по обыкновенной своей беспечности, все спали мертвецки <...> даже зоркий сторож, стоявший на самом опасном poste, спал, склонившись на ружье» (II, 315-316); затем, сделав грозное предупреждение сыну, засыпает и сам Бульба¹.

¹ Ср. в «Пропавшей грамоте» (1831): мотив «ярмарочного» сна персонажей на земле и на дороге поначалу откровенно физиологичен и лишен каких бы то ни было коннотаций: «Возле коровы лежал гуляка парубок с покрасневшим, как снегирь, носом; подале храпела, сидя, перекупка... под телегой лежал цыган... на самой дороге раскинул ноги бородач москаль с поясами и рукавицами... ну, всякого сброду, как водится по ярмаркам» [I, 182;

Также свидетельствует о мертвецком опьянении сон на дороге, ибо, по народной примете, пьяный в бессознательном состоянии не может сойти с дороги. Кроме того, в представлении восточных славян дорога соотносилась с жизненным путем, где в конце «тот свет», а также с путем души в загробный мир. На дороге (и меже) нельзя спать или сидеть, чтобы не быть задавленным нечистой силой: это мифологически «нечистое» место, общее для людей и нечистой силы, символически разделено на правую половину – для людей и левую – для потусторонних существ и зверей [Дорога // Славянские древности, 1999, т. 2, с. 124, 128]. Таким образом, спящие или просто лежащие посреди дороги запорожцы как бы прерывают свой жизненный путь, одновременно демонстрируя и презрение к нечистой силе, и родство с ней, что соответствует представлениям украинцев о бесовской природе «горелки» и пьянства [Булашев, 1909, с. 342-346].

Такое опьянение мотивируется «гульбой». Ей козаки посвящают «всё время», она «признак широкого размета душевной воли» и – как сама Сеча – «бесперывное пиршество, бал... потерявший конец свой» в «бешеном разгулье веселости», но это, предупреждает автор, не «какой-нибудь пьяный кабак...» (II, 301-302). То есть «горелку» считают посредником для веселья в кругу таких же «лыцарей» и для возможного общения с потусторонним миром, с духами предков, ибо она хоть и валит с ног, зато – пусть на время! – освобождает душу от оков материального, как «люлька», ибо, происходя от земли, «горелка» и табак имеют двуединую, Божественную и дьявольскую природу. Так, дома Тарас требует на стол «чистой горелки, настоящей... чтобы шипела, как бес!» (II, 281), но «перед великим часом» на поле битвы она должна поддержать «веселье», воинский дух: «...чтобы как эта горелка играет и шипает пузырями, так бы и мы шли на смерть» (II, 327-328). Верный товарищ «люлька», из-за которой потом героя схватят поляки, поднимает настроение, сокращает дорогу («Все думки к нечистому! Берите в зубы

отмечено: Гуковский, 1959, с. 63]. Однако затем запорожец предлагает товарищам бодрствовать с ним, чтобы его не унес нечистый.

люльки да закурим, да пришпорим коней, да полетим...» – II, 295) и сопровождает козака в последний путь¹.

Очевидно, с царством мертвых связан и образ «лежащего(-их) на земле». – Ср. призыв Тараса: «...всем, как верным лыцарям, как братьям родным, лечь вместе на поле и оставить по себе славу навеки...» (II, 351). Близкое по смыслу высказывание есть в «Легенде о Монтрозе» В. Скотта (1819). Аллан Мак-Олей, диковатый, огромной силы, иногда, в помрачении ума, кровожадный, склонный к мистике и пророчеству воин, отвечает брату – усомнившемуся, хватит ли места для ночлега множества гостей, – что нынешние представители шотландских кланов ничем не хуже предков: «Раскупорьте бочку водки – и пусть земля будет их постелею, плащи их одеялом, а твердь небесная занавесом», – и предрекает, что многие из них «будут лежать сегодня на земле, но когда зимний ветер станет свирепствовать, тогда и они – в свою очередь – будут ею покрыты – и не почувствуют более холоду!» [Скотт, 1824, с. 231-232].

Помимо спящего «льва» путники встречают уже в самой Сече своего рода заставу из «нескольких дюжих запорожцев, лежавших с трубками в зубах на самой дороге...» (II, 299), а затем среди примет Сечи упомянута «бешеная веселость <...> собравшейся толпы, лежавшей на земле...» (II, 301-302). Это напоминает древнегреческий миф о великане Антее, сыне бога морей Посейдона и богини земли Геры: он был непобедим и «соприроден» стихиям, пока касался матери-земли (коррелят «адамического начала»). Безделье и лень также присущи фольклорным богатырям – это оборотная сторона их силы и геройства. И древние германцы «были беспечны, бездейственны в домашней жизни и представляли совершенную противоположность беспокойному быту воинскому. Они были бесчувственно ленивы и лежали в своих хижинах, не трогаясь с места <...> Но более всего можно было видеть древнего германца в его пиришествах <...> В этих-то пиришествах созревали все их предприятия.

¹ В большинстве украинских легенд курение изображено как выдумка дьявола и чертей, хотя в некоторых преданиях оно оценивалось положительно или нейтрально: «От курения ни греха, ни спасения» [Булашев, 1909, с. 379-392]. Но козацкая «люлька» всегда имела сакральное значение.

Тут они задумывали свои смелые и дерзкие дела... Они были стремительны, азартны и как только были разбужены, потрясены и выходили из своего хладнокровного положения, то уже не знали пределов своему стремлению» (VIII, 122-123; статья «О движении народов...»).

У Гоголя одно не исключает другого: наряду с лежащими изображены и собравшиеся «в небольшие кучи», и сидящие, и танцующие, и пьющие и непьющие запорожцы. Но вот музыка постепенно увлекла всех, и затем «вся толпа отдирала танец, самый вольный, самый бешеный, какой только видел когда-либо мир...» – конечно, это «козачок» (II, 299-300). Тут же автор говорит о том, что поднимает человека над землей: «Только в одной музыке есть воля человеку. Он в оковах везде, он сам себе кует еще тягостнейшие оковы, нежели налагает на него общество и власть везде, где только коснулся жизни. Он – раб, но он волен только потерявшись в бешеном танце, где душа его не боится тела и возносится вольными прыжками, готовая завеселиться на вечность» (II, 300)¹. Это романтические представления о «земном», «первородном» рабстве и поднимающих над земной жизнью «музыке души» и танце. «Пир души», то есть свобода воли в отчаянной «гульбе», поддерживает в Сечи равновесие между «земным» и «небесным», жизнью и смертью, **невозможное** в обычной жизни, как равенство собственников, подобных Бульбе, и «беззаботных бездомников», кто «никогда не любил торговаться», но «как только... не ставало денег, то удалые разбивали... лавочки и брали всегда даром» (II, 303).

Этой «утопии Сечи» соответствует простор «идеального» пространства, которое не имеет преград, кроме необходимых атрибутов военного лагеря – «небольшого вала и засеки» (однако «не хранимых решительно никем»), – и «нигде не видно было забора или... низеньких домиков...» (II, 299). Здесь всё широко и свободно: «На пространстве пяти верст были разбросаны толпы народа»; «...обширная площадь, где обыкновенно собиралась рада <...>

¹ Это рассуждение, оставленное автором в черновике, издатели Академического собрания сочинений Гоголя (1937-1952) сделали беловым текстом.

покрылась приседающими запорожцами»; под ногами танцующих «земля глухо гудела на всю округу...»; «Крики и песни, какие только могли прийти в голову человеку в разгульном веселье, раздавались свободно» (II, 299-300). Это особое пространство, где каждый православный мог осуществить *свободу воли* и потому «позабывал и бросал все, что дотоле его занимало... плевал на всё прошедшее и с жаром фанатика предавался воле и товариществу таких же, как сам, не имевших ни родных, ни угла, ни семейства, кроме вольного неба и вечного пира души своей» (II, 301). Так образуется **религиозное единство разных запорожцев** – молодых и старых, уже смотревших в глаза смерти и не знающих жизни безграмотных «бурсаков, которые не вынесли академических лоз», образованных людей и темных крестьян, охочих до наживы и бессребреников, «опытных партизанов» и офицеров, даже «из польских войск» (бывших католиков); «впрочем, из какой нации здесь не было народа?» (II, 302).

С точки зрения повествователя – историка и художника, все означенные различия служат единству «безженных рыцарей» Сечи, отдающих жизнь борьбе за Веру¹, и это делает почти неразличимыми отдельные лица и противоречия между ними. Так, сообщается, что Бульба «встретил множество знакомых» (II, 300) и вспоминал с ними о других козаках², а конкретное описание тех и других «подменяют» типичные запорожские прозвища: Печерица, Козолуп, Долото, Застежка, Ремень, Бородавка, Колопер, Пидсыток, – которые из-за грубых «физических» (и физиологических!) ассоциаций расходятся с «духовным» именем Тараса. Так, *Печерица* – гриб, шампиньон;

¹ В стихотворениях «Сон-трава», «Приметы смерти», «Платки на козачьих крестах», «Поминальный день» из книги Н. Маркевича «Украинские мелодии» (1831) козаки были тоже изображены давно умершими. Обычай завязывать белые платки на могильных крестах восходит к представлению о Страшном суде, когда бы «мертвый по восстании своем мог оным <платком> утереться» [Лёвшин, 1816, с. 13].

² Ср. «прообраз» этой сцены в повести «Заколдованное место» (1832) – встрече деда (козака) с чумаками, которые зовут его Максимом, а он их – по именам и прозвищам (фамилиям): Болячка, Крутотрыщенко, Печерица, Ковелек, Стецько.

перенос. – о ком-либо низком и толстом; *Долото* – ср. в черновой ред. прозвище *Долбешка* у есаула, который в бою «похож был на... хладнокровную машину» (II, 285; 603); *Колопер* (от *коло* – круг, колесо) – носящийся (движущийся) по кругу; перенос. – вероятно, о ком-то непоседливом, не могущем устоять на месте; *Пидсыток* – редкое, негустое сито; перенос. – скорее всего, о рябом; *Козолуп* – тот, кто обдирает козьи шкуры, или бьет (лупит) коз, или занимается скотоложством. – Ср. обвинения св. Петра тем, кто «по воле языческой» предавались «нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии...» (1 Петра 4:3). – Видимо, не случайно появилось в этом ряду имя *Касьян* (лат. «пустой»): так называли профессиональных косарей, но имя это, в представлении народа, принадлежало «неправедному», «немилостивому» святому, в чей день – 29 февраля високосного года – старались не выходить из дома. Имя *Бородавка*, скорее всего, взято из «Истории Малой России» – так звали одного из гетманов [ИМР, 1830, ч. I, с. 184]. Но в разговоре Бульбы с козаками имена всех, кто жив и кто погиб, **уравниваются**, ибо «витязи» Сечи – как «тесный круг школьных товарищей <...> Разница та, что вместо насильной воли, соединившей их в школе, они сами собою кинули отцов и матерей и бежали из родительских домов своих» (II, 302), оставили занятия ради христианского долга, Отчизны, товарищества. Просто **других** защитников христианства, кроме тех, безудержных в бою и гульбе, свирепых степных «хищников», образовавших эту «странную республику», у Европы **не было**.

Их стихийное движение Гоголь изображает в ином масштабе и с другой мотивацией. Так, узнав о злодействах поляков, запорожцы отвечают тем же – свирепым разорением польских земель; они так же грабят и убивают, считая это справедливым, так же заинтересованы в добыче. Им помогают такие «партизаны», как Тарас Бульба со своим отрядом, которые мстят полякам по личным мотивам. Этот принцип кровной мести «око за око, зуб за зуб, кровь за кровь, смерть за смерть» типичен для средневекового – во многом еще «ветхозаветного», с точки зрения автора, – сознания [об этом см.: Барабаш, 2001, с. 35-38]. Речь о национальном освобождении как характерной черте Нового времени пойдет позже, при описании

массового движения Козачества во главе с Острицей за свои права (но тогда, заметим, автор уже не упоминает о запорожцах).

Кроме принципиальных различий с иными литературными обрисовками запорожцев, гоголевское описание отличается еще и тем, что в 1-й ред. «Тараса Бульбы» запорожцы показаны в духе типовых стилизованных «народных картинок», отражавших характерные занятия козаков – пьянствующих, играющих на бандуре, пляшущих, воюющих и т.п. (возможно, и лежащих на земле/дороге). Этот источник указал сам Гоголь. Так, в <Главах исторической повести> описана «небольшая картина, масляными красками, изображающая беззаботного запорожца с бочонком водки, с надписью: “Козак, душа правдивая, сорочки не мае”, которую и донныне можно иногда встретить в Малороссии» (III, 294). В повести «Вий» упомянуто, что на стене погребя «нарисован был сидящий на бочке козак, державший над головою кружку с надписью: *Все вытью*» (II, 194). Своего рода объединение этих образов-эмблем происходит при описании Сечи: «На большой опрокинутой бочке (очевидно, из-под водки. – В.Д.) сидел запорожец без рубашки; он держал в руках ее и медленно зашивал на ней дыры» (II, 299; в черновой ред. этой фразы не было), – где актуализирована семантика растраты и пустоты. Видимо, близко к «народным картинкам» изображен и «молодой запорожец», что «отплясывал» среди толпы на площади, «заломивши чертом свою шапку и вскинувши руками», в окружении «старых», и «Фома с подбитым глазом», отмерявший «каждому пристававшему по крупнейшей кружке» водки (II, 299)¹. Но, после указания на общую «флегматическую наружность» запорожцев, о них лишь сообщается

¹ Ср. в повести «Гайдамак» О.М. Сомова: «Посреди площади собралась толпа народа. Молодой чумак в синем жупане тонкого сукна, в казачьей шапке с красным верхом, лихо заломанной на голове, с алым шелковым платком на шее, распущенным на груди длинными концами, и в красных сафьянных чоботах шел, приплясывая и припевая, вел за собою музыкантов и ватагу весельчаков и сыпал деньгами в народ. Чтобы показать свое удайство и богатство, он то расталкивал ногою плоды у торговков, то бил нарочно стеклянную посуду... – и платил за все вдсятеро» [цит. по изд.: Сомов, 1989, с. 177].

«дюжие» или «дряхлые», «молодые» или «старые, загорелые, широкочленистые... с проседью в усах» (II, 300, 307), хотя, как обычно у Гоголя, из этого правила есть исключение – довыбиш (довбыш, литаврщик, подающий сигнал о Раде), «высокий человек, с одним только глазом, несмотря на то, страшно заспанным» (II, 304), – то есть тот, кто обязан немедленно оповещать всех, плохо видит и постоянно спит.

Но всё это суть *внешние* различия, ибо автор представляет запорожцев *едиными* по духу, по самосознанию («Мы все запорожцы, все из одного гнезда, всех нас вспоила Сеча, все мы братья родные...» – II, 326). Все они «в важных делах никогда не отдавались первому порыву, но молчали и между тем в тишине совокупляли в себе всю железную силу негодования», подавляя «чувства... в душе силою дюжего характера <...> волновались всё характеры тяжелые и крепкие. Они раскалялись медленно, упорно, но зато раскалялись, чтобы уже долго не остыть» (II, 308-309). В традициях своего века, они были суровы и свирепы для врагов, но знали милосердие и великодушие, воевали во имя христианской Веры, но «слышать не хотели о посте и воздержании», среди них были «охотники... до золотых кубков, богатых парчей, дукатов и реалов», а церковь Покрова Пресвятой Богородицы (покровительницы козаков) была самая скромная, поскольку большинство из них, вместо пожертвования на храм, предпочитало пропивать «почти всё... при жизни своей», понимая гульбу и войну как религиозный «пир души» ради Товарищества (II, 302, 303, 305)¹.

Соответствующие противоречия присущи и всей Сечи. «Эта странная республика была именно потребность того века» (II, 302), сочетая азиатские формы слитной, «братской», «роевой» жизни и деспотизма с европейской вольностью и независимостью каждого «лыцаря», а формы их самоорганизации – с территориальной «арматурой» войска, что ввел Баторий (от города полк, от местечка –

¹ Ср., в повести «Запорожец» В. Нарезного: запорожцы строго соблюдают православные традиции, служат молебны, а десятую часть добытого всегда отдают «на украшение Храма Угодника Божия» [Нарежный, 1824, с. 6].

сотня...). Поэтому атмосферу Рады может определять и общее настроение, и козацкая старшина, и даже один, как показывает автор, упрямый «мятежный» Тарас, и – тем более! – «слуга» козаков Кошевой, вроде бы покорно исполняющий их «волю», но в то же время, говоря современным языком, умело манипулирующий воинственной толпой (двойственна и его позиция по вопросу о войне: «...ему казалось неправым делом разорвать мир», который клятвенно «обещали султану», хотя сам он был уверен, что Козаку «без войны не можно пробыть. Какой и запорожец... если он еще ни раза не бил бусурмана?» – II, 305-306). И даже когда Кошевой предлагает отправить на челнах «несколько молодых людей, под руководством старых и опытных», чтобы «немного пошарпать берега Анатолии», вызвать гнев султана и развязать войну (а козацкое войско будет «наготове... и силы... будут свежие»), – запорожцы уверены, что поступают «совершенно по справедливости» (II, 306). Справедлив в их глазах и еврейский погром после известий о «беззаконии» на Гетманщине и злодеяниях поляков и евреев-арендаторов, хотя евреи – шинкари и торговцы в Сечи никак не могут быть к этому причастны (скорее всего, подоплека расправы в том, что «многие запорожцы позадолжались в шинки» и, по словам Кошевого, им «ни один черт теперь и веры неймет». – II, 305).

После этого казаки решают идти «прямо на Польшу, поскольку оттуда произошло всё зло» – и прежняя азиатская «необыкновенная беспечность» сменяется «необыкновенной деятельностью», когда каждый знает, что делать: «И вся Сеча вдруг преобразилась. Везде были только слышны пробная стрельба из ружей,бряканье саблей, скрип телег; всё подпоясывалось, облачалось. Шинки были заперты; ни одного человека не было пьяного <...> Кошевой вырос на целый аршин. Это уже не был тот робкий исполнитель ветреных желаний вольного народа (черты европейские. – В.Д.). Это был неограниченный повелитель. Это был почти деспот, умевший только повелевать (черты азиатские. – В.Д.). Все своевольные и гульбивые рыцари стройно стояли в рядах, почтительно опустив головы, не смея поднять глаз, когда он раздавал повеления...» – а затем все вместе стояли на молебне и «целовали крест», и, покидая Сечь, все

обратились к ней «почти... в одно слово» (II, 311), – это Слово-Бог, символ единения Православных.

Этот религиозный энтузиазм и товарищество дают запорожцам единство, красоту и силу «свыше естественной <...> Какое-то вдохновение веселости, какой-то трепет величия ощущался в сердцах этой гульливой и храброй толпы. Их черные и седые усы величаво опускались вниз; их лица были исполнены уверенности. Каждое движение их было вольно и рисовалось <...> Под свист пуль выступали они, как под свадебную музыку. Без всякого теоретического понятия о регулярности, они шли с изумительной регулярностью, как будто бы происходившие от того, что сердца их и страсти били в один такт единством всеобщей мысли. Ни один не отделялся; нигде не разрывалась... масса <...> конная толпа неслась как-то вдохновенно, не изменяясь, не охлаждая, не увеличивая своего пыла. Это была картина, и нужно было живописцу схватить кисть и рисовать ее» (II, 328-329). Но здесь одновременно есть и другой, не названный план изображения: козаки отчасти похожи на демонов *кентавров*, в античной мифологии – полулюдей, полуконей, пристрастных к вину спутников Диониса (этот план актуализируют моменты уподобления-расподобления: «...да пришпорим коней, да полетим <...> И козаки, прилегли несколько к коням, пропали в траве»; «...бешеный конь его (Бульбы. – В.Д.) грыз и кусал коней неприятельских...»; «...голос его, как отдаленное ржание жеребца, переносили звонкие поля» и т.п. – тогда как всадник Янкель «подпрыгивал на лошади». – II, 295, 321, 332, 336). Может быть, поэтому, «оставляя за собою пустые пространства», разрушая дома и храмы, истребляя мирных жителей, козаки напоминают и выходцев из *царства мертвых*, и своих извечных противников – татар: «Ничто не могло противиться азиатской атаке их <...> тактика их соединяла азиатскую стремительность с европейской крепостию» (II, 312, 320). В Малой Азии они грабят и предают «мечу и огню цветущие берега <...> Запорожцы переели и переломали весь виноград; в мечетях оставили целые кучи навозу <...> Третья часть их потонула в морских глубинах; но остальные... прибыли к устью Днепра с 12 бочонками, набитыми цехинами» (II, 334). То есть православные «лыцари», как отмечено выше, мстят по *ветхозаветному* принципу «око за око, зуб за зуб»,

они отправляются в поход, «желая внести опустошение в землю неприятельскую и предвидя себе при этом добычу» (II, 311). – Ср. более позднее изображение очистительного пламени **народно-освободительной войны**: «Это уже не был какой-нибудь отряд, выступавший для добычи или своей отдельной цели: это было дело общее <...> это принадлежит истории. Там изображено подробно, как бежали польские гарнизоны из освобождаемых городов, как были перевешаны бессовестные арендаторы-жиды, как слаб был коронный гетман Николай Потоцкий с многочисленною своею армиею против этой непреодолимой силы...» (II, 349-350).

(Продолжение следует)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Балушок, В. Г. Инициации древних славян (попытка реконструкции) / В. Г. Балушок // Этнографическое обозрение. – 1993. – № 4. – С. 57-66.

Барабаш, Ю. Я. Почва и судьба. Гоголь и украинская литература: у истоков / Ю. Я. Барабаш. – Москва: Наследие, 1995. – 223с.

Барабаш, Ю. Сладкий ужас мщения, или Зло во имя добра? (Мечь как религиозно-этическая проблема у Гоголя и Шевченко) / Ю. Я. Барабаш // Вопросы литературы. – 2001. – № 3. – С. 35-38.

[**Боплан, 1832**] Описание Украины, соч. Боплана / Пер. с фр. Н. Устрялов / Гильом Боплан. – Санкт-Петербург: В тип. Крайя, 1832. – 179с.

Булашев, Г. О. Украинский народ в своих легендах и религиозных воззрениях и верованиях. Вып. 1. Космогонические украинские народные воззрения и верования / Г. О. Булашев. – Киев: В тип. Имп. ун-та Св. Владимира, 1909. – 515 с.

Вайскопф, Михаил. Сюжет Гоголя: Морфология. Идеология. Контекст / М. Я. Вайскопф. – Москва: Радикс, 1993. – 592с.

Гоголь, Н. В. Полн. собр. соч.: Т. I-XIV / Н. В. Гоголь. – Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1937–1952.

Гуковский, Г. А. Реализм Гоголя / Г. А. Гуковский. – Москва; Ленинград: ГИХЛ, 1959. – 532с.

Гуминский, В. М. «Тарас Бульба» в «Миргороде» и «Арабесках» / В. М. Гуминский // Гоголь: История и современность / Сост., вступ. ст. В. В. Кожин. – Москва: Сов. Россия, 1985. – С. 240-259.

Денисов, В. Д. Козак Тарас и его сыновья / В.Д. Денисов // Культура и текст. – 2017. – № 1 (28). – С. 25-48.

[ИМР, 1830] **Бантыш-Каменский, Д.Н.** История Малой России: В 3 ч. – 2 изд., перераб. и доп. / Д. Н. Бантыш-Каменский. – Москва: В тип. Селивановского, 1830.

Карпенко, А. О народности Н.В. Гоголя (Художественный историзм писателя и его народные истоки) / А. Карпенко. – Киев: Изд-во Киевского ун-та, 1973. – 279 с.

[Кулиш, 1856] Николай М. <Кулиш, П.А.> Записки о жизни Н.В. Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем: В 2 т. / П.А. Кулиш. – Санкт-Петербург: В тип. Якобсона, 1856. Т. 1. – 340с.

[Лёвшин, 1816] Письма из Малороссии, писанные *Алексеем Лёвшиным* / А.И. Лёвшин. – Харьков: В Университетской тип., 1816. – 206с.

Лотман, Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь: Книга для учителя / Ю.М. Лотман. – Москва: Просвещение, 1988. – 348с.

[**Маркевич, 1831**] Украинские мелодии. Соч. Ник. Маркевича / Н.А. Маркевич. – Москва: В тип. Августа Семена, 1831. – 155с.

Мацапура, В. И. Украина в русской литературе первой половины XIX в.: Монография / В.И. Мацапура. – Харьков-Полтава: ПОИШПО, 2001. – 396с.

Мелетинский, Е. М. О литературных архетипах / Е.М. Мелетинский. – Москва: Изд-во РГГУ, 1994. – 136 с.

Нарежный, В. Запорожец / В.Т. Нарезный // Новые повести Василия Нарезного: в 3 ч. – Санкт-Петербург: Тип. Плавильщикова, 1824. Ч. 3. – 188с.

Пропп, В. Я. Собрание трудов / В.Я. Пропп. – Москва: Лабиринт, 1998. – 512с.

Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П.И. Бартеневым в 1851-1860 годах / Вступ. ст. и прим. М. Цявловского. – Ленинград, 1925. – 140с.

Розов, В. А. Традиционные типы малорусского театра XVII–XVIII вв. и юношеские повести Н.В. Гоголя / В.А. Розов // Памяти Н.В. Гоголя: Сб. речей и статей, изд. Императорским ун-том Св. Владимира. – Киев, 1911. – С. 99-169.

Славянские древности: Этнолингвистич. словарь: в 5 т. Москва: Междунар. отношения, 1995-2009.

[Скотт, 1824] Выслужившийся офицер, или Война Монтроза, историч. роман. Соч. Валтера Скотта, Автора Шотландских пуритан, Роб Роя, Эдимбургской темницы и проч. / В. Скотт. – Москва: В тип. П. Кузнецова, 1824. Ч. I. – 132с.

Сомов, О. Гайдамак. Малороссийская быль / О.М. Сомов // Русские альманахи: Страницы прозы / Сост., автор вступ. ст. и прим. В.И. Корвин. – Москва: Современник, 1989. – С. 176-190.